

А. П. Чехов

**Из Сибири. Остров Сахалин
(1890 - 1895)**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-94
ББК 63.3-8
Ч-56

Чехов А.П.
Ч-56 Из Сибири. Остров Сахалин (1890 - 1895) / А. П. Чехов – М.: Книга по Требованию, 2022. – 923 с.

ISBN 978-5-4241-0787-0

"Остров Сахалин", вышедший в 1895 году, был сразу назван талантливой и серьезной книгой; это рассказ очевидца не только о каторжных работах, кандалах, карцерах, побегах и виселице, это, что главное, взгляд думающего человека на каторгу в целом. В центре внимания Чехова-исследователя, Чехова-художника - проблема личности каторжника, простого, несчастного человека. Также в книгу вошли девять очерков, объединенных общим авторским названием "Из Сибири".

ISBN 978-5-4241-0787-0

© Издание на русском языке, оформление

«YOYO Media», 2022

© Издание на русском языке, оцифровка,

«Книга по Требованию», 2022

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, кляксы, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

кусят, напытается кирпичного чаю и тотчас же повалятся спать, и тотчас же их облекают клопы — злейший, непобедимый враг тех, кто изнемог и кому страстно хочется спать.

Вечером земля начинает промерзать и грязь обращается в кочки. Возок прыгает, грохочет и визжит на разные голоса. Холодно! Ни жилья, ни встречных... Ничто не шевелится в темном воздухе, не издает ни звука, и только слышно, как стучит возок о мерзлую землю да, когда закуриваешь папиросу, около дороги с шумом вспархивают разбуженные огнем две-три утки...

Подъезжаем к реке. Надо переправляться на ту сторону на пароме. На берегу ни души.

— Уплыли на ту сторону, язви их душу! — говорит возница.— Давай, ваше благородие, реветь.

Кричать от боли, плакать, звать на помощь, вообще звать — здесь значит реветь, и потому в Сибири ревут не только медведи, но и воробы и мыши. «Попалась коляка — и ревет», — говорят про мышь.

Начинаем реветь. Река широкая, в потемках не видно того берега... От речной сырости стынут ноги, потом всё тело... Ревем мы полчаса, час, а парома всё нет. Надоедают скоро и вода, и звезды, которыми усыпано небо, и эта тяжелая, гробовая тишина. От скуки разговариваю я с дедом и узнаю от него, что женился он 16 лет, что у него было 18 детей, из которых умерло только трое, что у него живы еще отец и мать; отец и мать — «киржаки», то есть раскольники, не курят и за всю свою жизнь не видели ни одного города, кроме Ишима, а он, дед, как молодой человек, позволяет себе побаловаться — курить. Узнаю от него, что в этой темной, суровой реке водятся стерляди, нельмы, налимь, щуки, но что ловить их некому и нечем.

Но вот наконец слышится мерный плеск, и на реке показывается что-то неуклюжее, темное. Это паром. Он имеет вид небольшой баржи; на нем человек пять гребцов, и их два длинных весла с широкими лопастями похожи на раки клешни.

Пристав к берегу, гребцы первым делом начинают браниться. Бранятся они со злобой, без всякой причины, очевидно спросонок. Слушая их отборную ругань, можно подумать, что не только у моего возницы, у лошадей и у них самих, но и у воды, у парома и у весел есть

матери. Самая мягкая и безобидная брань у гребцов — это «чтоб тебя уязвило» или «язвина тебе в рот!» Какая здесь желается язва, я не понял, хотя и расспрашивал. Я в полушубке, больших сапогах и в шапке; в потемках не видно, что я «вшё благородие», и один из гребцов кричит мне хриплым голосом:

— Эй ты, язвина, что стоишь, рот разинул? Отпрягай пристяжную!

Въезжаем на паром. Перевозчики, бранясь, берутся за весла. Это не местные крестьяне, а ссыльные, присланые сюда по приговорам обществ за порочную жизнь. В деревне, где они приписаны, им не живется — скучно, пахать землю не умеют или отвыкли, да и не мила чужая земля, и поплыли они сюда на перевоз. Лица у них испитые, истасканные, битые. А какие выражения на лицах! Видно, что эти люди, пока плыли сюда на арестантских баржах, скованные попарно наручниками, и пока шли этапом по тракту, ночуя в избах, где их тело невыносимо жгли клопы, одеревенели до мозга костей; а теперь, болтаясь день и ночь в холодной воде и не видя ничего, кроме голых берегов, навсегда утратили всё тепло, которое имели, и осталось у них в жизни только одно: вода, девка, девка, водка... На этом свете они уже не люди, а звери, а по мнению деда, моего возницы, и на том свете им будет худо: пойдут за грехи в ад.

II

Из большого села Абатского (375 верст от Тюмени), в ночь под 6-е мая, везет меня старик лет 60; незадолго перед тем, как запрягать, он парился в бане иставил себе кровососные банки. Для чего банки? Говорят, что поясница болит. Он боек не по летам, подвижен, словоохотлив, но ходит нехорошо: кажется, у него спинная сухотка.

Я сижу в высоком, некрытом тарантасике, везет пара. Старик помахивает кнутом и покривывает, но уже не кричит по-прежнему, а только кряхтит или стонет, как египетский голубь.

По сторонам дороги и вдали на горизонте змееобразные огни: это горит прошлогодняя трава, которую здесь нарочно поджигают. Она сыра и тую поддается огню, и потому огненные змеи ползут медленно, то разрывааясь

на части, то потухая, то опять вспыхивая. Огни искрятся, и над каждым из них белое облако дыма. Красиво, когда огонь вдруг охватит высокую траву: огненный столб вышилою в сажень поднимается над землей, бросит от себя к небу большой клуб дыма и тотчас же падает, точно проваливается сквозь землю. Еще красивее, когда змейки ползают в березняке; весь лес освещен насквозь, белые стволы отчетливо видны, тени от березок переливаются со световыми пятнами. Немножко жутко от такой иллюминации.

Навстречу, во весь дух, гремя по кочкам, несется почтовая тройка. Стариk спешит свернуть вправо, и тотчас же мимо нас пролетает громадная, тяжелая почтовая телега, в которой сидит обратный ямщик. Но вот слышится новый гром: несется навстречу другая тройка и тоже во весь дух. Мы торопимся свернуть вправо, но, к великому моему недоумению и страху, тройка сворачивает почему-то не вправо, а влево и прямо летит на нас. А что, если столкнемся? Едва я успеваю задать себе этот вопрос, как раздается треск, наша цара и почтовая тройка мешаются в одну темную массу, тарантас становится на дыбы и я падаю на землю, а на меня все мои чемоданы и узлы... Пока я, ошеломленный, лежу на земле, мне слышно, что несется третья тройка. «Ну, думаю, эта наверное убьет меня». Но, слава богу, я ничего не сломал себе, ушибся не сильно и могу встать с земли. Вскакиваю, отбегаю в сторону и кричу не своим голосом:

— Сгой! Стой!

Со дна пустой почтовой телеги поднимается фигура, берется за вожжи, и третья тройка останавливается почти у самых моих вещей.

Минуты две проходят в молчании. Какое-то тупое недоумение, точно все мы никак не можем понять того, что произошло. Оглобли сломаны, сбруи порваны, дуги с колокольчиками валяются на земле, лошади тяжело дышат; они тоже ошеломлены и, кажется, сильно ушиблены. Стариk, кряхтя и охая, поднимается с земли; первые две тройки возвращаются, подъезжает еще четвертая тройка, потом пятая...

Затем начинается неистовая ругань.

— Чтоб тебя уявило! — кричит ямщик, столкнувшись с нами.— Язвина тебе в рот! Где у тебя глаза были, старая собака?

— А кто виноват? — кричит плачущим голосом старик.— Ты виноват, да ты же и ругаешься?

Как можно понять из ругани, причиной столкновения было следующее. Ехало в Абатское пять обратных троек, возивших почту; по закону, обратные ямщики должны ехать шагом, но передний ямщик, соскучившийся и желая скорее попасть в тепло, погнал лошадей во весь дух, в задних же четырех телегах ямщики спали и некому было править тройками; за первою во весь дух побежали и остальные четыре. Если бы я спал в тарантасе или если бы третья тройка бежала тотчас же за второй, то, конечно, дело не обошлось бы для меня так благополучно.

Ямщики ругаются во всё горло, так что их, должно быть, за десять верст слышно. Ругаются нестерпимо. Сколько остроумия, злости и душевной нечистоты потрачено, чтобы придумать эти гадкие слова и фразы, имеющие целью оскорбить и осквернить человека во всем, что ему свято, дорого и любо! Так умеют браниться только сибирские ямщики и перевозчики, а научились они этому, говорят, у арестантов. Из ямщиков громче и злее всех бранится виноватый.

— Ты не бранись, дурак! — защищается старик.

— А что? — спрашивает виноватый ямщик, мальчишка лет 19, с угрожающим видом подходит к старику и становится лицом к лицу.— А что?

— Ты не очень!

— А что? Отвечай: что же будет? Возьму обломок оглобли, да обломком тебя, язвина!

По тону судя, быть драке. Ночью, перед рассветом, среди этой дикой ругающейся орды, в виду близких и далеких огней, пожирающих траву, но ни на каплю не согревающих холодного ночного воздуха, около этих беспокойных, норовистых лошадей, которые столпились в кучу и ржут, я чувствую такое одиночество, какое трудно описать.

Старик, ворча и высоко поднимая ноги,— это он от болезни,— ходит вокруг тарантаса и лошадей и отвязывает, где только можно, веревочки и ремешки, чтобы связать ими сломанную оглоблю, потом он, зажигая спичку за спичкой, ползает на брюхе по дороге и ищет постромку. Идут в дело и мои багажные ремни. Уж занялась заря на востоке, уж давно кричат проснувшиеся

дикие гуси, наконец уж уехали ямщики, а мы всё еще стоим на дороге и починаемся. Пробовали было ехать дальше, но связанные оглобля — трах!.. и нужно опять стоять... Холодно!

Кое-как шагом доплетаемся до деревни. Останавливаемся около двухэтажной избы.

— Илья Иваныч, кони дома? — кричит старик.

— Дома! — отвечает кто-то глухо за окном.

В избе встречает меня высокий человек в красной рубахе и босой, сонный и чему-то спросонок улыбающийся.

— Клопы одолели, приятель! — говорит он, почесываясь и улыбаясь еще шире.— Нарочно горницу не топим. Когда холодно, они не ходят.

Здесь клопы и тараканы не ползают, а ходят; путешественники не едут, а бегут. Спрашивают: «Куда, ваше благородие, бежишь?» Это значит: «Куда едешь?»

Пока на дворе подмазывают возок и позвякивают колокольчиками, пока одевается Илья Иваныч, который сейчас повезет меня, я отыскиваю в углу удобное месечко, склоняю голову на мешок с чем-то, кажется, с зерном, и тотчас же мною овладевает крепкий сон; уж снятся мне моя постель, моя комната, снится, что я сижу у себя дома за столом и рассказываю своим, как моя пара столкнулась с почтовой тройкой, но проходят две-три минуты, и я слышу, как Илья Иваныч дергает меня за рукав и говорит:

— Вставай, приятель, лошади готовы.

Какое издевательство над ленью, над отвращением к холоду, который змейкой пробегает по спине и вдоль и поперек! Опять еду... Уже светло, и золотится перед восходом небо. Дорога, трава в поле и жалкие, молодые березки покрыты изморозью, точно засахарились. Где-то токуют тетерева...

8-го мая.

III

По сибирскому тракту, от Тюмени до Томска, нет ни поселков, ни хуторов, а одни только большие села, отстоящие одно от другого на 20, 25 и даже на 40 верст. Усадеб по дороге не встречается, так как помещиков здесь нет; не увидите вы ни фабрик, ни мельниц, ни постоянных дворов... Единственное, что по пути напоми-

нает о человеке, это телеграфные проволоки, завывающие под ветер, да верстовые столбы.

В каждом селе — церковь, а иногда и две; есть и школы, тоже, кажется, во всех селах. Избы деревянные, часто двухэтажные, крыши тесовые. Около каждой избы на заборе или на березке стоит скворечня, и так низко, что до нее можно рукой достать. Скворцы здесь пользуются общею любовью, и их даже кошки не трогают. Садов нет.

Часов в пять утра, после морозной ночи и утомительной езды, я сижу в избе вольного ямщика, в горнице, и пью чай. Горница — это светлая, просторная комната, с обстановкой, о какой нашему курскому или московскому мужику можно только мечтать. Чистота удивительная: ни соринки, ни пятнышка. Стены белые, полы непременно деревянные, крашеные или покрытые цветными холцовыми постилками; два стола, диван, стулья, шкаф с посудой, на окнах горшки с цветами. В углу стоит кровать, на ней целая гора из пуховиков и подушек в красных наволочках; чтобы взобраться на эту гору, надо подставлять стул, а ляжешь — утонешь. Сибирики любят мягко спать.

От образа в углу тянутся по обе стороны лубочные картины; тут портрет государя, непременно в нескольких экземплярах, Георгий Победоносец, «Европейские государи», среди которых очутился почему-то шах персидский, затем изображения святых с латинскими и немецкими подписями, поясной портрет Баттенберга, Скobelева, опять святые... На украшение стен идут и конфетные бумажки, и водочные ярлыки, и этикеты из-под папирос, и эта бедность совсем не вяжется с солидной постелью и крашеными полами. Но что делать? Спрос на художество здесь большой, но бог не дает художников. Посмотрите на дверь, на которой нарисовано дерево с синими и красными цветами и с какими-то птицами, похожими больше на рыб, чем на птиц; дерево это растет из вазы, и по этой вазе видно, что рисовал его европеец, то есть ссылочный; ссылочный же малевал и круг на потолке и узоры на печке. Немудрая живопись, но здешнему крестьянину и она не под силу. Девять месяцев не снимает он рукавиц и не расправляет пальцев; то мороз в сорок градусов, то луга на двадцать верст затопило, а придет короткое лето — спина болит от работы

и тянутся жилы. Когда уж тут рисовать? Оттого, что круглый год ведет он жестокую борьбу с природой, он не живописец, не музыкант, не певец. По деревне вы редко услышите гармонику и не ждите, чтобы ямщик затянул песню.

Дверь отворена, и сквозь сени видна другая комната, светлая и с деревянными полами. Там кипит работа. Хозяйка, женщина лет 25-ти, высокая, худощавая, с добрым, кротким лицом, месит на столе тесто; утреннее солнце бьет ей в глаза, в грудь, в руки, и кажется, она замешивает тесто с солнечным светом; хозяйская сестра-девушка печет блины, стряпка обваривает кипятком только что зарезанного поросенка, хозяин катает из шерсти валенки. Ничего не делают только старики. Бабушка сидит на печке, свесив ноги, стонет и охает; дедушка лежит на полатях и кашляет, но, заметив меня, сползает вниз и идет через сени в горницу. Ему хочется поговорить... Начинает он с того, что весна теперь холодная, какой давно не было. Помилуйте, завтра Николин день, послезавтра Вознесенье, а ночью шел снег, и по дороге к селу замерзла какая-то женщина; скот тощает от бескормицы, у телят от морозов понос... Потом он спрашивает меня, откуда я, куда бегу и зачем, женат ли я, и правду ли говорят бабы, что скоро будет война.

Слышился детский плач. Теперь только я замечаю, что между кроватью и печью висит маленькая люлька. Хозяйка бросает тесто и бежит в горницу.

— Однако какой у нас случай, купец! — говорит она мне, качая люльку и кротко улыбаясь.— Месяца два назад приехала к нам из Омска мещанка с ребеночком... Барыней одета, однако... Ребеночка она родила в Тюкалинске, там и крестила; после родов-то в дороге разнемоглась и стала жить у нас вот в этой горнице. Говорит, что замужняя, а кто ее знает? На лице не написано, а паспорта при ней нет. Может, ребеночек незаконный...

— Не наше дело судить,— бормочет дедушка.

— Прожила она у нас неделю,— продолжает хозяйка,— потом и говорит: «Я поеду в Омск к мужу, а мой Саша пусть у вас останется; я за ним через неделю приеду. Теперь боюсь, как бы не замерза дорогой...» Я ей и говорю: «Послушай, сударыня, бог посылает людям детей, кому десять, кому и двенадцать, а меня с хозяйством

наказал, ни одного не дал; оставь нам своего Сашу, мы его себе в сыночки возьмем». Она подумала и говорит: «Однако погодите, я мужа своего спрошу и через неделю вам письмо пришлю. Без мужа не смею». Оставила нам Сашу и уехала. И вот уж два месяца прошло, а она ни сама не едет, ни письма не шлет. Наказание господне. Полюбили мы Сашу, как родного, а сами теперь не знаем, наш он или чужой.

— Надо вам этой мещанке письмо написать,— советую я.

— Стало быть, надо! — говорит из сепей хозяин.

Он входит в горницу и молча смотрит на меня: не дали я еще какого-нибудь совета?

— Да как ты ей напишешь? — говорит хозяйка.— Фамилии своей она нам не сказывала. Марья Петровна— вот и всё. А Омск, тоже сказать, город большой, не найдешь ее там. Ищи ветра в поле!

— Стало быть, не найдешь! — соглашается хозяин и смотрит на меня так, как будто хочет сказать: «Помоги же, бога ради!»

— Привыкли мы к Саше,— говорит хозяйка, давая ребенку соску.— Закричит днем или ночью, и на сердце иначе станет, словно и изба у нас другая. А вот, не ровен час, вернется та и возьмет от нас...

Глаза хозяйки краснеют, наливаются слезами, и она быстро выходит из горницы. Хозяин кивает ей вслед, усмехается и говорит:

— Привыкла... Известно, жалко!

Он и сам привык, ему тоже жалко, но он мужчина, и сознаться ему в этом неловко.

Какие хорошие люди! Пока я пью чай и слушаю про Сашу, мои вещи лежат на дворе, в возке. На вопрос, не украдут ли их, мне отвечают с улыбкой:

— Кому же тут красть? У нас и ночью не крадут.

И в самом деле, по всему тракту не слышно, чтоб у проезжего что-нибудь украли. Нравы здесь в этом отношении чудесные, традиции добрые. Я глубоко убежден, что если бы я обронил в возке деньги, то нашедший их вольный ямщик возвратил бы мне их, не заглянув даже в бумажник. На почтовых я ездил мало и про почтовых ямщиков могу сказать только одно: в жалобных книгах, которые я читал от скучки на станциях, мне попалась на глаза только одна жалоба на покражу: у проез-

жего пропал мешочек с сапогами, но и эта жалоба, что видно из резолюции почтового начальства, оставлена без последствий, так как мешочек был скоро найден и возвращен проезжему. О грабежах на дороге здесь не принято даже говорить. Не слышно про них. А встречные бродяги, которыми меня так пугали, когда я ехал сюда, здесь так же страшны для проезжего, как зайцы и утки.

К чаю мне подают блинов из пшеничной муки, пирогов с творогом и яйцами, оладий, сдобных калачей. Блины тонкие, жирные, а калачи вкусом и видом напоминают те желтые, поздреватые бублики, которые в Таганроге и в Ростове-на-Дону хохлы продают на базарах. Хлеб везде по сибирскому тракту пекут вкуснейший; пекут его ежедневно и в большом количестве. Пшеничная мука здесь дешевая: 30—40 коп. за пуд.

На одном хлебе сыт не будешь. Если в полдень попросишь чего-нибудь вареного, то везде предлагают одной только «утячей похлебки» и больше ничего. А эту похлебку есть нельзя: мутная жидкость, в которой плавают кусочки дикой утки и потроха, не совсем очищенные от содержимого. Невкусно, и смотреть тошно. В каждой избе — дичина. В Сибири никаких охотничьих законов не знают и стреляют птиц в продолжение всего года. Но едва ли здесь скоро истребят дичь. На расстоянии 1500 верст от Тюмени до Томска дичи много, но не найдется ни одного порядочного ружья, и из ста охотников только один умеет стрелять влёт. Обыкновенно охотник ползет к уткам на животе, по кочкам и мокрой траве, и стреляет только из-за куста, в 20—30 шагах в сидячую, причем его поганое ружье раз пять дает осечку, а выстрелив, сильно отдает в плечо и в щеку; если удается попасть в цель, то тоже не малое горе: снимай сапоги и шаровары и полезай в холодную воду. Охотничьих собак здесь нет.

9-го мая.

IV

Подул холодный, резкий ветер, начались дожди, которые идут день и ночь, не переставая. В 18 верстах от Иртыша мужик Федор Павлович, к которому привез меня вольный ямщик, говорит, что дальше ехать нельзя, так как от дождей по берегу Иртыша затопило луга;

вчера из Пустынского приехал Кузьма, так он едва лошадей не утошил; надо ждать.

— А до каких пор ждать? — спрашиваю.

— А кто ж его знает? Спроси у бога.

Иду в избу. Там в горнице сидит старик в красной рубахе, тяжело дышит и кашляет. Я даю ему доверов пороток — полегчало, но он в медицину не верит и говорит, что ему стало легче оттого, что он «отсиделся».

Сижу и думаю: остаться ночевать? Но ведь всю ночь будет кашлять этот дед, пожалуй, есть клопы, да и кто поручится, что завтра вода не разольется еще шире? Нет, уж лучше ехать!

— Поедем, Федор Павлович! — говорю я хозяину.— Не стану я ждать.

— Это как вам угодно,— кротко соглашается он.— Только бы нам в воде не ночевать.

Едем. Дождь не идет, а, как говорится, лупит во всю мочь; тарантас же у меня не крытый. Первые верст восемь проезжаем по грязной дороге, но все-таки рысью.

— Ну, погода! — говорит Федор Павлович.— Признаться, сам я давно там не был, не видел разлива, да вот Кузьма напугал. Может, бог даст, и проедем.

Но вот перед глазами расстилается широкое озеро. Это затопленные луга. Ветер гуляет по нем, шумит и поднимает зыбь. То там, то сям видны островки и еще не залитые полоски земли. Направление дороги указывают мосты и гати, которые размокли, раскисли и почти все сдвинуты с места. Вдали за озером тянется высокий берег Иртыша, бурый и угрюмый, а над ним нависли тяжелые, серые облака; кое-где по берегу белеет снег.

Начинаем ехать по озеру. Неглубоко, колеса сидят в воде только на четверть аршина. Ехать, пожалуй, было бы сносно, если бы не мосты. Около каждого моста нужно вылезть из тарантаса и становиться в грязь или в воду; чтобы въехать на мост, нужно сначала к его приподнятыму краю подложить доски и бревна, которые разбросаны тут же на мосту. Лошадей по мосту водим поодиночке. Федор Павлович отпрягает пристяжных и дает мне держать; я держу их за холодные, грязные повода, а они, норовистые, пятятся назад, ветер хочет сорвать с меня одежду, дождь сильно бьет в лицо. Не вернуться ли? Но Федор Павлович молчит и, вероятно, ждет, когда я сам предложу вернуться; я тоже молчу.